

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
**СУМКА**



В Берчвуд-Мэнор мы поехали потому, что Эдвард сказал, будто это дом с привидениями. Дом был обычным — по крайней мере, тогда, — но только зануда ради правды может испортить хорошую историю, а Эдвард никогда таким не был. В нем была страсть, и если уж он во что-то верил, то верил истово и так же истово убеждал в этом других. За это я его и полюбила, то есть и за это тоже. Его пыла хватило бы на полдюжины проповедников, а говорил он, отливая каждую свою мысль в звонкую, полноценную монету слова. Он умел собрать вокруг себя людей, разжечь в них такой энтузиазм, какого они сами за собой не знали, и сделать так, чтобы для них померкло все, кроме его мнений и убеждений.

Но проповедником Эдвард не был.

Я его помню. Я помню все.

Помню студию со стеклянной крышей в лондонском саду его матери, запах свежей, только что смешанной краски, шорох щетины по холсту, его взгляд, скользящий по моей коже. В тот день я вся была как на иголках. Мне так хотелось произвести на него впечатление, хотелось, чтобы он поверил, будто я та, кем вовсе не была, и, пока его взгляд охватывал меня всю, от макушки до пят, в голове у меня вертелись слова миссис Мак: «Помни, твоя мать была истинной леди, и родня у тебя из благородных. Разыграешь свои карты как надо, и, глядишь, все наши пташки целыми и невредимыми вернутся на свой насест».

И я еще больше выпрямляла спину, сидя в тот первый день на стуле из розового дерева в белой комнате, за спутанной завесой из нежно-алого душистого горошка.

Его младшая сестра приносила мне чай и пирожок, если мне случалось проголодаться. И его мать тоже приходила к нам по узкой садовой дорожке взглянуть на работу сына. Она его обожала. Видела в нем воплощение своих надежд. Выдающийся член Королевской академии, помолвленный с леди из состоятельной семьи, отец выводка кареглазых наследников.

Такие, как он, не про мою честь.

Позже его мать винила себя во всем, что произошло, но она скорее смогла бы разлучить день с ночью, чем удержать нас вдали друг от друга. Он называл меня своей музой, своей судьбой. Говорил, что сразу это понял, едва увидел меня там, в фойе театра на Друри-лейн, в жаркой дымке газового света.

Я была его музой, его судьбой. А он стал моей.

Это было давно; это было вчера.

О, я помню любовь.

Я особенно люблю укромный уголок на площадке главной лестницы, в одном пролете от второго этажа.

Чудной это дом, и строили его с особой целью — сбивать людей с толку. Лестницы здесь угловатые, как молоденькие девушки, перила выпирают, будто локти или колени, ступеньки неровные; окна, сколько ни смотри на них сквозь ресницы, все будут на разной высоте; половицы и стенные панели скрывают хитрые тайники.

В моем уголке всегда тепло, так тепло, что даже странно. Мы все тогда обратили на это внимание, с самого первого дня, и в первые недели лета по очереди пытались разгадать причину.

Мне понадобилось время, чтобы понять, отчего это, но теперь я знаю правду. Теперь я вообще знаю этот дом не хуже, чем собственное имя.

Эдвард соблазнял других не домом как таковым, а светом. В ясный день из окон мансарды виден другой берег Темзы — аж до Валлийских гор. Полосы розовато-лилового чередуются с зеленым, меловые утесы ступенями восходят к облакам, и все это будто сияет, окутанное прогретым воздухом лета.

Вот какое предложение он им сделал: целый месяц лета, наполненный живописью, поэзией, пикниками, рассказами, наукой, изобретениями. И светом, божественным светом. Вдали от Лондона и его любопытных глаз. Ничего удивительного, что другие сразу клюнули. Эдвард и черта заставил бы петь псалмы, приди ему такая блажь.

Только я одна знала другую цель его приезда сюда, он мне открылся. Конечно, свет был приманкой и для него, но еще у Эдварда была тайна.

Со станции мы шли пешком.

Стоял июль, день был ясный. Легкий ветерок заигрывал с краешком моей юбки. Кто-то захватил с собой сэндвичи, мы ели их на ходу. Вид у нас, наверное, был еще тот — мужчины ослабили галстуки, женщины распустили волосы. Все смеялись, поддразнивали друг друга, веселились.

Какое замечательное начало! Помню, где-то рядом журчал ручеек, лесной голубь ворковал над нашими головами. Какой-то человек вел в поводу лошадь, в телеге, на тюках соломы сидел маленький мальчик, пахло свежескошенной травой — о, как я тоскую по этому запаху! Жирные деревенские гуси настороженно уставились на нас глазами-бусинками, когда мы приблизились к реке, а когда мы прошли мимо, храбро загоготали нам вслед.

Сколько света было вокруг, жаль, что все так быстро кончилось.

Хотя это вы уже поняли, ведь если бы свет и тепло продолжались, не о чем было бы говорить сейчас. Кому интересно слушать про спокойное, счастливое лето, которое кончилось так же, как началось. Этому меня тоже научил Эдвард.

Уединение тоже сыграло свою роль; дом стоит на берегу реки, одинокий, как выброшенный на берег корабль. И погода; жаркие, сияющие дни шли один за другим, пока однажды ночью не разразилась гроза, которая загнала нас всех под крышу.

Дул ветер, стонали деревья, гром накатывал по реке, сжимая дом в своих мощных лапах; тогда разговор свернул на призраков и способы общения с ними. В камине потрескивал огонь, язычки пламени на свечах дрожали, и тогда, в темноте, в исповедальной атмосфере утонченного страха, заварилось что-то нехорошее.

Дело было совсем не в призраке, о нет — причиной случившегося были люди.

Двое неожиданных гостей.

Два долго скрываемых секрета.

И выстрел в темноте.

Свет померк, все вокруг почернело.

Лето переломилось. Первые желтые листья спешили упасть с деревьев, чтобы затем сгнить в лужах под редкими живыми изгородями, а Эдвард, который прежде любил этот дом, метался теперь по его коридорам, точно зверь в ловушке.

Наконец он не выдержал. Собрал свои вещи и уехал, и я не смогла его остановить.

Другие последовали за ним, как всегда.

А я? У меня не было выбора; я осталась.



# ГЛАВА 1

*Лето 2017 года*

Элоди Уинслоу наслаждалась любимым временем суток. Лето, Лондон, рабочий день уже перевалил за середину, и вдруг солнце как будто замедляет свое непрерывное шествие по небосклону, и поток света сквозь небольшие стеклянные плитки в тротуаре обрушивается прямо ей на стол. Мало того, Марго и мистер Пендлтон ушли рано, так что в заветный миг Элоди оказалась в конторе совсем одна.

Полуподвал «Стрэттон, Кэдуэлл и К<sup>о</sup>» в доме на Стрэнде, конечно, не самое романтичное место на земле, не то что хранилище документов в Нью-Колледже, где Элоди подрабатывала на каникулах в год защиты магистерского диплома. Здесь было прохладно, всегда, и даже в такую жару, которая сжигала теперь Лондон, она сидела за столом в теплом кардигане. Но иногда — видимо, когда сходились звезды — старая контора с ее запахами древней пыли и Темзы, норовящей просочиться внутрь сквозь стены, наполнялась неожиданным очарованием.

В тесном кухонном уголке, отгороженном от общей комнаты стеной каталога, Элоди налила в кружку кипятка и перевернула песочные часы. Марго вечно критиковала ее за дотошность, но что поделать — Элоди любила чай, настоящий ровно три с половиной минуты. Она ждала, следя взглядом за стружкой песка за стеклом, и думала о сообщении Пиппы. Письмо доставили, когда она вышла в магазин через дорогу, чтобы купить себе сэндвич к чаю: приглашение на модную вечеринку,

которое для нее, Элоди, звучало почти так же соблазнительно, как перспектива провести пару часов в приемной врача. К счастью, у нее уже были планы на вечер — поездка к отцу в Хэмпстед за записями, которые он отложил для нее, — так что не надо было выдумывать причину для отказа.

Отказывать Пиппе всегда было трудно. Они дружили, точнее, были лучшими подругами с первого дня учебы в третьем классе начальной школы Пайн-Оукс. С тех пор Элоди не раз мысленно благодарила мисс Перри за то, что тогда она посадила их вместе: Элоди, новую девочку в форме другой школы, с косичками, неумело заплетенными папой, и Пиппу с широкой улыбкой, конопатыми щеками и руками, которые порхали в такт каждому ее слову.

С тех пор они были неразлучны. Всю начальную школу, и среднюю тоже, и потом, когда Элоди поехала в Оксфорд, а Пиппа поступила в Сент-Мартинз. Теперь они виделись реже, и неудивительно: мир искусства — стихия энергичных и общительных людей, и Пиппа, перепархивая с инсталляции в одной галерее на открытие другой и так далее, неизменно оставляла на мобильнике Элоди след из приглашений на всякие такие мероприятия.

Зато в мире архивов заняться было решительно нечем. Так, по крайней мере, считала Пиппа, привыкшая к блеску и суете. Но не Элоди: она постоянно засиживалась на работе и часто встречалась с людьми — правда, не настоящими, в смысле уже не живыми. Основатели фирмы, мистер Стрэттон и мистер Кэдуэлл, много путешествовали по миру в те дни, когда он был большим, не то что сейчас, а телефон еще не отучил людей считать письмо самым надежным средством связи. Вот почему теперь Элоди днями напролет вглядывалась в пыльные пожелтевшие артефакты, хозяев которых давно уже не было в живых, и вчитывалась то в описание какого-нибудь суаре в Восточном экспрессе, то в отчет о встрече путешественников-викторианцев, искателей Северо-Западного прохода.

Такая социализация сквозь время целиком устраивала Элоди. Правда, друзей у нее было мало — то есть друзей из плоти и крови, — но это ее не огорчало. В конце концов, это ведь так утомительно — весь вечер, не спуская улыбки с лица, сплетничать и говорить о погоде; вот почему любую компанию, даже самую немногочисленную, она покидала усталая и с таким чувством, будто оставила позади важную часть самой себя, которая уже никогда к ней не вернется.

Элоди вытащила пирамидку с заваркой, отжала последние капли в раковину и на полсекунды наклонилась над кружкой пакет, доливая молока.

С чаем она вернулась за свой стол: по его поверхности, как всегда в это время, уже ползли призмы послеполуденного света. Элоди села и, согревая ладони о бока кружки с султаном пара поверх нее, стала думать, что еще предстоит сделать до конца дня. Алфавитный указатель к отчету Джеймса Стрэттона-младшего о его путешествии к западному побережью Африки в 1893 году она довела уже до половины; за статью для «Ежемесячника „Стрэттон, Кэдуэлл и К<sup>о</sup>“» пока не садилась; а еще мистер Пендлтон поручил ей вычитать каталог для приближающейся выставки, прежде чем пустить его в печать.

Но Элоди весь день подбирала правильные слова и расставляла их в единственно верном порядке и теперь чувствовала, что ее мозг перенапрягся. Ее взгляд упал на коробку из вошеного картона, которая стояла на полу под ее столом. Она появилась здесь в понедельник, после обеда, когда в кабинетах наверху случилась какая-то протечка и пришлось срочно эвакуировать старую гардеробную — помещение с таким низким потолком, как будто архитектор сначала начисто забыл о нем и лишь в последний момент втиснул его в дальний уголок дома. Кажется, Элоди не была там ни разу за все десять лет своей работы в «Стрэттон, Кэдуэлл и К<sup>о</sup>». Коробка стояла там, на дне антикварного шифоньера, под стопкой пыльных парчовых штор, а рукописный ярлычок



на ней гласил: «Содержимое ящика стола из мансарды, неразобранное — 1966».

Обнаружение архивных материалов в заброшенной гардеробной, да еще через несколько десятилетий после их прибытия в контору, — это, вообще говоря, скандал, и реакция мистера Пендлтона обещала быть предсказуемо взрывной. Второго такого ярого приверженца протокола, как он, надо было еще поискать, и, обсуждая потом этот случай, Элоди и Марго сошлись во мнении, что, кто бы ни отвечал за эту посылку в 1966-м, ему крупно повезло, что он уже оставил свою должность.

Да и время для находки было самое неподходящее: с тех пор как к ним прислали консультанта по менеджменту с целью «оптимизации работы» компании, мистер Пендлтон был буквально вне себя. Мало того что этот тип вторгся в его пространство, так он еще подвергал сомнению его эффективность как управленца. «Ощущение такое, будто у тебя из кармана вытащили часы, чтобы сказать тебе же, который час», — процедил он сквозь смерзшиеся губы после первой встречи с консультантом в то утро.

Бесцеремонное возникновение коробки в таких обстоятельствах грозило и вовсе довести мистера Пендлтона до апоплексии, и Элоди, которой дисгармония была любезна не более, чем полное отсутствие порядка, твердо пообещала ему, что сама разберется во всем в ближайшее время, после чего подхватила коробку и загнула ее под стол — с глаз, так сказать, долой.

В последующие дни Элоди не упоминала о находке и старалась, чтобы та никому не попадалась на глаза, во избежание нового взрыва эмоций, но теперь, оставшись наконец одна в конторе, она опустила ее у стола на колени и достала коробку из ее убежища...

Свет вспыхнул неожиданно, он кололся, как множество острых иголок, и сумка, давно сплюснутая внутри коробки, вздохнула. Ее путь оказался таким долгим —

немудрено, что она устала. Края сумки истерлись почти до прозрачности, пряжки потускнели, нутро, увы, пропахло плесенью. О пыли и говорить нечего: она давно уже затянула полупрозрачной пленкой всю некогда безупречную поверхность, сделав сумку такой вещью, которую люди внимательно рассматривают, держа на вытянутой руке, покачивая головой и не зная, как с ней поступить. Носить нельзя — слишком старая, выбрасывать тоже нехорошо — смутно казалось, что она обладает исторической ценностью.

Когда-то ее любили, восхищались ее элегантностью, больше того, полезностью. Она была незаменима для кого-то в те дни, когда люди ценили подобные аксессуары. А потом ее спрятали и забыли, случайно обнаружили, обращались с ней кое-как, потеряли, нашли и забыли опять.

Но вот предметы, которые десятилетиями давили на сумку своим весом, куда-то исчезли, да и саму ее наконец откуда-то извлекли, и она оказалась в комнате, где слабо жужжали электрические приборы и тихо щелкали трубы отопления. Размытый желтый свет, запах бумаги и мягкое прикосновение белых перчаток.

По другую сторону перчаток обнаружилась женщина: молодая, похожая на олененка — с длинными тонкими руками и деликатной шеей, которая поддерживала головку с лицом в оправе черных стриженных волос. Она тоже держала сумку на расстоянии вытянутой руки, но без всякой брезгливости.

Ее прикосновение было нежным. Губы сложились в трубочку от любопытства, серые глаза слегка прищурились, потом расширились, когда она оценила тонкую ручную работу, отличный индийский хлопок и качество шва.

Мягким большим пальцем она провела по инициалам на верхнем клапане сумки — поблекшим и печальным, — и сумка ощутила мурашки удовольствия. Почему-то внимание этой молодой женщины подсказывало

ей, что ее невыразимо длинное путешествие, вероятно, близится к концу.

«Открой меня, — беззвучно молила сумка. — Загляни внутрь».

Когда-то, давным-давно, сумка была сияющей и новой. Сам мистер Симмс из «У. Симмс и сын», поставщик королевского двора, сделал ее на заказ в своей мастерской на Бонд-стрит. Золотые инициалы, сработанные вручную, были с невероятной торжественностью прикреплены под нагревом; каждую серебряную заклепку и пряжку тщательно отобрали и, внимательно изучив, отполировали; тончайшую кожу раскроили и аккуратно сшили, а затем натерли маслом и отшлифовали до горделивого блеска. Пряные ароматы Востока — гвоздика, шафран и сандал — приплыли по кровеносной системе здания из парфюмерного магазина по соседству, придав сумке намек на чужестранность.

«Открой меня...»

Женщина в белых перчатках щелкнула потускневшей серебряной застежкой, и сумка затаила дыхание.

«Открой меня, открой меня, открой...»

Она подняла наружный кожаный клапан, и свет впервые за сто лет озарил нутро сумки, до самого дальнего уголка.

С ним нахлынул поток воспоминаний — разрозненных, путаных: звон колокольчика на двери «Уильям Симмс и сын»; шелест юбок молодой женщины; стук лошадиных копыт; запах свежей краски и скипидара; жар, страсть, шепот. Свет газовых фонарей на вокзале; длинная, петляющая река; пшеничные ароматы полей...

Рука в перчатке вынырнула из кожаного нутра, вынося груз наружу.

Прежние ощущения, касания, голоса — все поблекло, все осталось далеко позади, наконец потемнело и стихло.

Кончилось.



Элоди опустила содержимое сумки себе на колени, а саму ее отложила в сторону. Красота предмета как-то не вязалась с вещами, лежавшими внутри. Там оказался набор совершенно заурядных письменных принадлежностей — дырокол, чернильница, деревянная коробочка с отделениями для перьев и скрепок — и еще футляр для очков из крокодиловой кожи, который производитель снабдил ярлычком с надписью: «Собственность Л. С.-В.». Он и подсказал Элоди, что все найденные ею предметы, как и письменный стол, к которому они когда-то относились, принадлежали Лесли Стрэттон-Вуд, внучатой племяннице первого Джеймса Стрэттона. Тогда и время совпадает — Лесли Стрэттон-Вуд умерла где-то в шестидесятых, — и становится понятно, почему коробку доставили именно в здание «Стрэттон, Кэдуэлл и К°».

Вот только сумка — если, конечно, речь не шла о подделке самого высокого класса — казалась слишком старой, чтобы принадлежать мисс Стрэттон-Вуд; да и предметы внутри ее, по крайней мере на первый взгляд, были не из двадцатого века. Черный журнал для записей с монограммой (Э. Дж. Р.) и обрезом под мрамор; медная коробочка для перьев, изготовленная в середине царствования королевы Виктории; и линиялая кожаная папка для бумаг, зеленого цвета. Невозможно было с уверенностью сказать, кому принадлежали все эти вещи, но под передним клапаном папки оказался ярлычок с золотой надписью: «Джеймс У. Стрэттон, эскв., Лондон, 1861».

Папка была плоской, и Элоди сначала решила, что она пуста; но, щелкнув застежкой, обнаружила внутри один-единственный предмет. Это была изящная серебряная рамка — такая небольшая, что уместилась в ладони, — со снимком женщины. Молодая, волосы длинные, светлые, но не как у блондинки, наполовину убранные в свободный узел на макушке; взгляд прямой, подбородок слегка приподнят, скулы высокие. Складка



губ такая, словно она только что беседовала с кем-то на интеллектуальные темы, а то и пикировалась, и вот на секунду отвлеклась.

Вглядываясь в коричневатую фотографию, Элоди уже испытывала знакомый трепет, — возможно, перед ней была жизнь, доселе неизвестная, ждавшая, когда ее откроют заново. Платье на женщине было свободнее, чем носили в те времена. Складки белой ткани драпировали плечи, образуя треугольный вырез. Рукава прозрачные и пышные, манжет на одной руке поднят до локтя. Запястье хрупкое, рука на бедре подчеркивает изгиб талии.

Да и трактовка образа не менее необычна, чем модель, ведь женщина снята не на кушетке и не на фоне декорации, чего обычно ждешь от викторианцев. Нет, она позирует на открытом воздухе, среди густой зелени, и все вокруг нее говорит о движении и жизни. Свет рассеянный, общее впечатление упоительное.

Отложив снимок в сторону, Элоди взялась за дневник с монограммой. Он раскрылся сразу, точно только того и ждал, обнажив страницы дорогой хлопковой бумаги кремового цвета; слова на ней были выведены прекрасным почерком, но, увы, служили лишь подписями к многочисленным карандашным и чернильным рисункам и наброскам людей, пейзажей и других объектов, чем-то заинтересовавших автора. Значит, не дневник — альбом.

Из сложенных страниц выскользнул клочок бумаги, вырванный откуда-то еще. По нему тянулась одна строчка: «Я люблю ее, я люблю ее, я люблю ее, и если не смогу быть с ней, то наверняка сойду с ума, потому что, когда я не с ней, мне страшно...»

Слова рвались с бумаги так, словно кто-то выкрикивал их вслух, но, перевернув записку, Элоди не поняла, чего именно страшился автор.

Кончиками пальцев в мягких перчатках она провела по слегка вдавленным буквам. Посмотрела ее на про-

свет, и в последних отблесках уходящего солнца увидела неповторимый узор из ворсинок и множество крошечных сияющих точек там, где острый кончик металлического пера проткнул когда-то бумагу.

Элоди тихонько вложила истерзанный клочок обратно в альбом.

Он был старым, даже старинным, и тем сильнее тревожило заключенное в нем сообщение: с неистовством и яростью оно твердило о неоконченном деле.

Элоди продолжила аккуратно переворачивать страницы альбома, и везде находила штрихованные наброски, а кое-где — беглые профили на полях.

И вдруг ее рука замерла.

Этот набросок был более тщательным, чем другие, более завершенным. На переднем плане — речной пейзаж с одиноким деревом, на заднем — поля и далекий лес. Справа из-за рощицы выглядывала крыша: острые зубцы двойного фронтона, восемь дымовых труб и причудливый флажок флюгера с солнцем, луной и эмблемами других небесных тел.

Рисунок был вполне законченным, но Элоди не потому смотрела на него в таком изумлении. Ее охватило ощущение дежа вю, причем столь сильное, что у нее даже дух занялся.

Это место было ей знакомо. Воспоминание было таким ярким, как будто она побывала там сама, но Элоди твердо знала, что никогда не видела этого дома своими глазами, только представляла его себе мысленно.

Слова всплыли в ее памяти внезапно и прозвучали чисто и внятно, как птичья песенка на рассвете:

«Долго шли они извилистой тропой через широкий луг, и пришли к реке, и принесли с собой тайну и меч».

И она вспомнила. Это была сказка, которую в детстве рассказывала ей мать. Романтическая сказка, длинная, с витиеватым сюжетом, со множеством персонажей — героев, злодеев и, конечно же, Королевой Фей, — а происходило все в доме посреди темного леса, на берегу большой излучистой реки.

Но эта история была не из книги, а значит, никаких картинок к ней не полагалось. Они с матерью сидели бок о бок на кровати в детской спальне Элоди, комнате со скошенным потолком, и мать рассказывала...

Из кабинета мистера Пендлтона раздался низкий предупредительный звон настенных часов, и Элоди взглянула на свои часики. Она опаздывала. Время снова утратило форму, его стрела рассыпалась и пылью легла ей под ноги. Бросив последний взгляд на странно знакомую картинку, она вернула альбом в коробку вместе с прочим содержимым, накрыла все крышкой и сунула под стол.

Элоди собрала вещи и стала проверять, все ли в отделе заперто и выключено, как вдруг ощутила властный зов. Не в силах противиться ему, она вернулась к столу, вынула из-под него коробку, сняла крышку, нашла альбом и сунула его себе в сумку.

## ГЛАВА 2

Элоди села в автобус номер 24, идущий от Чаринг-кросс в Хэмпстед. Метро, конечно, доставило бы ее быстрее, но она никогда не пользовалась лондонской «трубой». Там было слишком много народу и мало воздуха, а Элоди всегда плохо себя чувствовала в таких местах. Отвращение к толпе и духоте было фактом ее жизни с самого детства, и она привыкла к нему, хотя и не могла не испытывать сожаления; ей нравилась сама идея подземной железной дороги, привлекал заключенный в ней дух викторианской предприимчивости, радовали глаз старинная плитка и шрифты, историческая пыль и та грела душу.

Движение, как назло, было мучительно медленным, а возле Тоттенхэм-Корт-роуд машины и вовсе едва ползли: там шло строительство станции новой дороги, Западно-Восточного диаметра, и в процессе обнажились задние фасады целого ряда кирпичных домов — викторианской ленточной застройки. Для Элоди этот вид стал одним из любимейших в Лондоне: где еще прошлое открывается так явно, что его буквально можно коснуться рукой? Она часто представляла себе жизнь тех, кто обитал в этих домах давным-давно, когда весь юг Сент-Джайлза покрывали сплошные трущобы, лабиринт узких кривых переулков, где между кабаками и игорными притонами самого низкого пошиба слонялись дешевые проститутки и шмыгали немые уличные оборванцы, а воздух густел от зловония сточных канав и выгребных



ям; это было в те дни, когда Чарльз Диккенс еще искал вдохновения в ежевечерних прогулках по Лондону, а в Севен-Дайелз еще встречались алхимики, занимавшиеся своим древним ремеслом на средневековых улицах с открытыми сточными канавами.

Джеймс Стрэттон-младший, как и многие его современники-викторианцы, испытывал острый интерес к эзотерике всякого рода и оставил ряд дневниковых записей, в которых детально излагал все обстоятельства своих посещений одной ясновидящей из Ковент-Гарден — у него была с ней затяжная интрижка. Банкир Джеймс Стрэттон отменно писал; в его дневниках есть немало страниц, на которых современный ему Лондон буквально живет и дышит, вызывая у читателя то сострадание, а то и смех. Он был хорошим человеком, по-настоящему добрым, старавшимся всемерно облегчить участь тех, кого жизнь лишила всего и ввергла в нищету. Он искренне верил в то, о чем писал друзьям, вовлекая их в свои филантропические проекты: «Когда человеческому существу есть где приклонить голову на ночь, это, без сомнения, облегчает его текущую жизнь и делает светлее его виды на будущее».

Люди его круга уважали Стрэттона за деловые качества и даже, наверное, любили: умный, богатый, прекрасный собеседник, желанный гость на любом званом обеде, он много путешествовал, видел мир и преуспел во всех отношениях, в каких только мог желать себе преуспевания викторианский джентльмен; при этом он был одинок. Женился поздно, пережив целую вереницу неудачных и каких-то безнадежных романов. Сначала с актрисой, которая потом убежала с каким-то итальянским изобретателем, затем с натурщицей, беременной от другого, а в сорок с лишним лет глубокую и постоянную страсть в нем зажгла одна из его горничных, девушка по имени Молли, которую он не уставал осыпать проявлениями своей доброты, так и не открывшись ей. Элоди почти поверила в то, что он нарочно выбирал женщин, которые не хотели — или не могли — ответить на его любовь.

— Зачем ему это было нужно? — нахмурившись, переспросила ее Пиппа, когда Элоди поделилась с ней этим соображением за сангрией и тапасом.

Элоди и сама ничего не знала наверняка, в его переписке не было ровно никаких указаний на отвергнутое чувство, безответную любовь или иной источник постоянного, глубоко укорененного несчастья, и все же она не могла избавиться от ощущения, что за приятным, текучим слогом его частных писем таилась какая-то печаль; он представлялся ей вечным искателем того, что ему было заказано обрести.

Элоди давно привыкла к скептическому выражению, возникавшему на лице Пиппы всякий раз, когда подруга высказывала ей что-нибудь в этом роде. Она не умела объяснить то глубокое чувство интимного знания человека и его жизни, которое пришло к ней само собой, просто потому, что она изо дня в день разбирала артефакты, из которых эта жизнь некогда складывалась. Элоди не разделяла и не могла понять присущего современности желания выносить на всеобщее обозрение и обсуждение все свои переживания, даже самые потаенные; глубины своей души она стерегла неусыпно, а французское выражение «le droit à l'oubli» — «право быть забытым» — было ее жизненным девизом. С другой стороны, ее профессия — вернее, страсть — состояла в том, чтобы собирать по крупицам, сберегать и вызывать к жизни других людей, которые уже ничего не могли сказать в свою защиту. Любые помыслы Джеймса Стрэттона, которые он доверял в свое время дневнику, не думая, конечно, о будущих читателях, были открыты ей, той, чьего имени он никогда не слышал.

— Ты в него, разумеется, влюблена, — заявляла Пиппа всякий раз, когда Элоди делала попытку что-то объяснить ей.

Но любовь была здесь ни при чем; просто Элоди искренне восхищалась Джеймсом Стрэттоном и стремилась сбегать и донести до других все, что он сделал при жизни. Именно его наследие подарило ему жизнь за пределами срока, отпущенного судьбой, и целью Элоди,

сутью ее работы было сделать так, чтобы это наследие уважали.

Но едва мысль об уважении мелькнула в ее мозгу, как Элоди вспомнила про альбом, покоившийся в недрах сумки, и вспыхнула.

Что это на нее нашло, в самом деле?

Страх вылился в ужасное, восхитительное и преступное предвкушение новизны, которое овладело ее душой. За все десять лет, что она работала в архиве «Стрэттон, Кэдуэлл и К<sup>о</sup>», ей еще ни разу не доводилось столь откровенно пренебречь указаниями мистера Пендлттона. Одно из его непреложных правил гласило: вынести из подвала артефакт — хуже того, непочтительно сунуть его в сумку и подвергнуть святотатственному провозу в лондонском автобусе начала двадцать первого века — это не простое нарушение нормы. Это смертный грех.

Но когда автобус номер 24 обогнул станцию «Морнингтон-кресент» и выехал на Кэмден-таун-стрит, Элоди, воровато оглянувшись и убедившись, что на нее никто не смотрит, вынула из сумки альбом и торопливо открыла его на странице с рисунком дома на берегу реки.

И снова ее пронзило чувство глубокой причастности к изображению. Она знала это место. В истории, которую рассказывала мать, этот дом был настоящим порталом в другой мир; для Элоди же, уютно свернувшейся в кольцо рук матери и вдыхавшей необычный аромат — от нее пахло нарциссами, таких духов не употреблял больше никто, — порталом была сама история, она, точно заклинание, похищала девочку из мира здесь-и-сейчас и уносила в страну воображения. А когда мать девочки умерла, мир этой сказки стал ее тайным убежищем. В школе, на большой перемене, дома, долгими безмолвными вечерами или ночью, под удушающим покровом темноты, ей надо было только спрятаться и закрыть глаза, и она сразу переносилась на берег реки, откуда тропинка вела ее через лес прямо к порогу зачарованного дома...



Автобус прибыл на Саут-Энд-грин, и Элоди задержалась, чтобы купить кое-что с лотка у станции наземного метро, а уж потом заспешила по Уиллоу-роуд к Гейнсборо-гарденз. Было еще тепло и даже довольно душно, и, когда Элоди подошла наконец к двери крошечного домика, где жил ее отец — раньше здесь обитал садовник, — пот лил с нее так, словно она пробежала марафонскую дистанцию.

— Привет, пап, — сказала она, когда он поцеловал ее в щеку. — Я тебе кое-что принесла.

— О, моя дорогая, — сказал он, с сомнением глядя на растение в горшке. — Ты еще не потеряла веры в меня, несмотря на то что случилось в прошлый раз?

— Нет, не потеряла. Кроме того, леди, у которой я это купила, заверила меня, что поливать его нужно не чаще двух раз в год.

— Господи, да неужели? Два раза в год?

— Так она сказала.

— Подумать только!

Несмотря на жару, он запек утку с апельсинами, свое коронное блюдо, и они поели, сидя за столом на кухне, как делали всегда. В их семье не принято было есть в столовой, разве только по особым случаям, вроде дней рождения, Рождества, или в тот раз, когда мать Элоди решила, что им следует пригласить на День благодарения американского скрипача-гастролера с женой.

За едой говорили о работе: Элоди — о своем кураторстве на близящейся выставке, ее отец — о своем хоре и уроках музыки, которые он в последнее время вел в местной начальной школе. Его лицо буквально осветилось, когда он заговорил о своей ученице-скрипачке, такой малютке, что вся ее рука была не длиннее скрипки, и о мальчишке, который сам, по собственной инициативе, пришел к нему в комнату для занятий и с горящими глазами буквально умолял его об уроках игры на виолончели.

— Понимаешь, его родители — не музыканты.

— Дай-ка я угадаю: он тебя уговорил?